

Александр Амфитеатров

**Алексей Александрович
Остроумов**



Александр Валентинович
Амфитеатров

**Алексей Александрович
Остроумов**

«Летом 1908 г. тихо и почти незаметно исчез из жизни человек, по профессии врач, пользовавшийся долгою и громкою всероссийскою известностью, а вернее будет сказать – даже знаменитостью. Человека этого с самой ранней молодости звали и почитали прямым преемником Боткина и Захарьина. Уже к тридцати годам он слыл в Москве под шутливою кличкою „Пантелеймона-целителя“, а к сорока годам гремел от хладных финских скал до пламенной Колхиды как самый дорогой врач земли русской, к которому и подступа нет, и – уж если Остроумов не поможет, так никто не поможет!..»

**Александр Валентинович
Амфитеатров
Алексей Александрович
Остроумов**

Летом 1908 г. тихо и почти незаметно исчез из жизни человек, по профессии врач, пользовавшийся долгою и громкою всероссийскою известностью, а вернее будет сказать – даже знаменитостью. Человека этого с самой ранней молодости звали и почитали прямым преемником Боткина и Захарьина. Уже к тридцати годам он слыл в Москве под шутовскую кличку «Пантелеймона-целителя», а к сорока годам гремел от хладных финских скал до пламенной Колхиды как самый дорогой врач земли русской, к которому и подступа нет, и – уж если Остроумов не поможет, так никто не поможет! Но весьма скоро этот великий знахарь и чудотворец, – наживший себе в короткий срок состояние большое, однако не огромное, – вдруг как будто устал или разочаровался в своей науке. Начал понемногу уклоняться от практики, потом совсем ее забросил, поселился в глухом уголке Черноморского побережья и, – мрачный, точно могучий зверь какой-то, ушедший в свою берлогу, чтобы умереть – себе спокойно и людям не видно, – выползал на зовы человеческие лишь в самых экстренных и необходимых,

почти уже исторических, так сказать, обстоятельствах. Появление Остроумова у кровати того или иного знаменитого больного стало для газетчиков символом, что – наавтра, значит, надо готовить некролог. Его всегда звали слишком поздно. Он приходил уже как бы ангелом смерти: проверить всю самозащиту больного организма против смерти, укорить ошибки, ускорившие угасание жизни, облегчить возбуждающим обманом минуты последних страданий и сказать родным и консультантам: «Jam moritur!»[1] Это роковое соседство с гробовщиком преждевременно состарило его мощную богатырскую на вид натуру, разбило крепкие бурсацкие нервы, вымрачило веселый, жизнерадостный характер. Чем славнее становилось его имя, тем более ненавидел он практику, тем больше презирал толпу, суеверно стучащуюся в двери врача, с тайной надеждою найти знахаря, тем обиднее сомневался в силах и необходимости своих таинств.

Я не знал А. А. Остроумова в старости и потому выше-напечатанную характеристику внутренней трагедии, жившей в нем, остав-

ляю на ответственности лиц, о том мне повествовавших. Но она нисколько не противоречит тем воспоминаниям, которые сохранил я об Остроумове конца семидесятых и первой половины восьмидесятых годов, в самый пышный расцвет молодой его славы. А тогда я видал его много и часто, так как он был ближайшим другом Александра Ивановича Чупрова, также скончавшегося в этом году, моего родного дяди по матери. В чупровском кружке, среди которого прошли мое отрочество и университетская юность, А. А. Остроумов был свой, родной человек. Настолько, что, например, даже двадцатилетнему и позже он продолжал говорить мне «ты» и «Саша», как в ранние детские годы. И в нашей семье, и у Чупровых Остроумов был авторитетом полубожественным. Случаев наблюдать его и как человека, и как врача было множество. В своих статьях об А. И. Чупрове я указывал, что бедствием и страхом жизни его был наследственный туберкулез, пощадивший его самого, но убивший большинство его сестер и братьев. В сказанный период чахотка косила чупровскую семью беспощадно: по-

следовательно умерли молодыми Владимир, Иван, мать моя Елизавета Ивановна, заболели: Алексей Иванович и Марья Ивановна. Все они были пациентами Остроумова и его любимого ассистента, ныне популярного профессора В. Д. Шервинского. Поэтому и живых рассказов об Остроумове, и посещений Остроумова мы имели немало. Я лично восторженно благоговел пред ним, обязанный к тому, помимо уже всех отвлеченных симпатий, прямою и живую благодарностью: в 1879 году он вылечил меня от дифтерита, а через год от острого катара кишок. Кажется, это был первый случай в России, и наверное знаю, что первый в Москве, когда к лечению дифтерита был применен бензойный натр. Очень хорошо помню: когда я уже выздоравливал, Остроумов рассказывал, что он сделал о моем лечении доклад в медицинском обществе, как о замечательно счастливом опыте исцеления тяжелой формы дифтерита посредством бензойного натра.

– Как, Алексей Александрович? – заметила ему смущенная мать моя. – Это, значит, вы над Сашею новое средство пробовали? Опыт

производили?

Остроумов засмеялся:

– Надо же с кого-нибудь начать... Вы не сердитесь, а благодарите Бога, кабы не этот опыт, Сашка на столе лежал бы, а теперь, недели через полторы, опять за юбками бегать будет!

Язык у Алексея Александровича был семинарский, жаргонный, добродушно-веселый, тяжеловесно-острый, бодрящий, поднимающий. Дифтерит свой я запустил, потому что вначале принял его за одну из бесчисленных ангин, которым был подвержен в молодости, и настолько мало придавал значения болезни своей, что лишь на третий или четвертый день показался врачу, некоему Трахтенбергу. Тот аж завизжал, когда увидел горло мое, столь оно было ужасно. Мать немедленно помчалась в Екатерининскую больницу за Остроумовым. Он сейчас же приехал ко мне, едва кончил лекцию.

– Что, чадушко? Допрыгался? Ну, разевай рот?

Смотрит и – «на челе его высоком не отразилось ничего». Мать стоит, ждет приговора,

ни жива ни мертва. У меня сердце – будто упало куда-то глубоко, в желудок, что ли. Строю кривую улыбку, вопрошаю:

– Дифтерит? Отвечает:

– Да, поцарапано!.. И хохочет:

– Что, черт? Околевать-то, видно, не хочется? Небось! Здоров, буйвол, сразу не помрешь!

И – сейчас же к матери:

– Вы, Елизавета Ивановна, голубушка, за птенца своего трехаршинного не тревожьтесь. Конечно, дифтерит – не шутка, но мы теперь его, как насморк, лечим. Конечно, Сашка пасть свою запустил, но плюньте вы в глаза тому врачу, который, в условиях городской буржуазной обстановки, не умеет дифтерита вылечить и больному умереть допускает.

Мать ожила, расцвела, а Остроумов уехал, посоветовав мне на прощанье:

– Читай, брат, Базарова – против смертных мыслей хорошо помогает. И не бойся. Хуже смерти ничего не будет – только лопух из тебя вырастет! Ха-ха-ха! Наплевать!

Нахохотал, нагрохотал, наострил, развеселил меня, мать, отца, поднял настроение в доме и – исчез. И так, затем, каждый день. А

впоследствии признавался, что случай мой был отчаянный (по тогдашним медицинским средствам: сыворотки-то и прививок ведь еще не было!), и он почти не имел надежды поставить меня на ноги... Есть у меня старый очерк «Как умирают москвичи», который когда-то очень нравился Антону Чехову. Он написан, хотя и в тонах шаржа, но почти фотографически с нескольких известных врачей восьмидесятной Москвы, в том числе веселый профессор Доброзраков – с Остроумова.

Ваня Чупров был юноша серьезный, почти суровый, на редкость вдумчивого отношения к себе, характера крепкого, ума пытливый. Медик по образованию, уже на четвертом курсе, он болел сознательно, умирал гневно, но бесстрашно. Трудно врачу с таким больным, который сам себя наизусть знает и, кроме строгой правды, ничего не требует, а между тем правда-то, как Лука говорит, обух для него. Стало быть, надо было и правду сказать, и надеждою ее обезвредить. И вот Остроумов набрасывается на Ваню с самой слабой стороны его характера – в его научном самолюбии: как же, мол, вы, образцовый студент, занима-

ющийся, талантливый медик, уже работавший в клиниках, прозевали в самом себе воспаление легких? Ведь это же – черт знает что!

Это – невежество! – и пошел, и пошел. Ваня растерявшийся, сконфуженный, объясняет, что он подозревал, но сомневался.

– А по каким таким данным вы изволили сомневаться? Ваня излагал свои наблюдения. Остроумов как бы поддается:

– Да?.. В самом деле?.. Вот как?.. Гм... да, не может быть?.. странно!..

И вот – безнадежно чахоточный медик, вполне уверенный, что он уже живой покойник, ушел от Остроумова с воскресшею мечтою о жизни: все данные за туберкулез, но, может быть, и в самом деле, какой-то другой процесс? Вон ведь, в конце-то концов, и сам Остроумов усомнился! А Остроумов при первой же встрече с Александром Ивановичем Чупровым объясняет ему:

– Нагнал я Ваньке холода... Теперь небось будет следить за собою, минутки не упустит!..

И, действительно, остальная недолгая жизнь Вани превратилась всецело в клиническое наблюдение им своей болезни: в од-

ном теле жили как бы два человека – больной, цепко схватившийся за жизнь, и внимательнейший врач-оптимист. Спасти Ваню было невозможно, но Остроумов выиграл для него несколько месяцев жизни – притом сознательной, деятельной, с борьбой, без обычного самоубийственного отчаяния. На еженедельные визиты свои к Остроумову Ваня являлся с подробными и аккуратными, истинно ординаторскими отчетами о болезни своей, и Остроумов серьезно и внимательно слушал, спорил, поправлял... Так – шахматный игрок наблюдает партию слабого ученика, хотя и знает уже, что игра его давным-давно и безнадежно проиграна, – мат через столько-то ходов!

Однажды я провожал Ваню к Остроумову. Было ему очень уж нехорошо: лихорадка с высокими температурами быстро пожирала его. Ехал он Москвою мрачнее тучи. Выходит от Остроумова веселый, смеется. Улыбка, вообще, была не частым гостем на его серьезном лице, а уж в особенности теперь, в тяжком градусе скоротечной чахотки.

– Что он тебе сказал?

– Черт его возьми, рассмешил! Я ему говорю, что температура не хочет падать, лихорадка никаким средствам не поддается. Он задумался – знаешь его манеру этак, быком, уставиться – долго думал. Потом кладет палец в нос и говорит:

– Ну, Ваня! Либо перст пополам, либо ноздря надвое! Попробуем еще одно средствице – последнее!..

Рассмешить умирающего на *последнем* средствице, право, кажется, один Остроумов был способен.

Он покорял больных интимностью, фамильярным сближением с пациентом, редкою способностью сразу делаться другом и родным. Говорят, впоследствии он стал держаться богом, вроде Захарьина. Такого Остроумова я уже не знал. Мой Остроумов был еще добрый малый, сорокалетний бурш семинарского пошиба и обличья, похожий на кафедрального протопопа, переодетого в сюртук.

Умирала мать моя. Лечил ее В. Д. Шервинский. Остроумов наезжал изредка – так лишь, для поддержания духа больной, которую он давно объявил совершенно безнадежною. Од-

нажды он пообещал приехать во вторник – и обманул, не приехал. Больная рассердилась и раздражилась страшно. На Шервинского не хочет и смотреть, лекарств не принимает, плачет, как капризный ребенок, требует Остроумова, а где же его взять? Назавтра гнев ее улегся и неприязненное чувство сосредоточилось уже только на Остроумове, который, действительно, один и был виноват. Лежит и твердит:

– Стал велик, стал богат, забывает старых друзей... Я же ему напомню, когда он явится!

Является в пятницу – как ни в чем не бывало. Мы, дети, с большим и неприятным интересом ждем, как-то разыграется встреча виноватого врача с раздраженной больною.

Слышим:

– Здравствуйте, Алексей Александрович! А у нас самовар уже три дня кипит, вас поджидая.

– Вот и прекрасно, Елизавета Ивановна. Стало быть, мы с вами теперь, первым делом, чайку напьемся, – за чайком и поговорим.

Тем гроза и разошлась сразу. Пять минут спустя опять были друзьями и приятельски

разговаривали обо всем, кроме болезни. А от болезни отделались коротким обменом успокоительных вопросов и жаждущих улучшения жизнелюбивых показаний – и каким-то сложным, но бесполезным рецептом. Остроумов оставил больную веселою, счастливою. Но в прихожей, надевая шубу, обратился к нам с лицом угрюмым, строгим:

– Больше вы за мною не посылайте. Бесполезно. Она умрет на этой неделе. Ей теперь, собственно говоря, уже не врач, а только сиделка нужна, чтобы наблюдала. Что мы можем? Совершенно бессильны.

– Алексей Александрович, да ведь она в вас, как в Бога, верит!

– Потому-то, знаете, и тяжело уж очень в глаза ей смотреть! Тут вот впервые видел и понял я, что Остроумов совсем не такой веселый человек, каким он кажется, что практика не дешево ему дается, что много мрачных, горьких осадков накопила в себе его глубокая душа, и ум его печален и отравлен постоянными впечатлениями смерти, и жизнь его безрадостна в скептическом размене на помощь чужим слабеющим жизням.

Со смертью матери хорошие и близкие отношения между нашим домом и А. А. Остроумовым оборвались. Когда в доме покойник, врачи, пользовавшие умершего, всегда попадают в немилость родных. Отец мой, – и он в текущем году тоже лег в могилу! – охладел и к В. Д. Шервинскому, и в особенности к Остроумову. С последним он даже и встречаться больше не хотел и, едва ли не потому, почти что перестал бывать у Чупровых. Этому несправедливому, но понятному озлоблению содействовало маленькое столкновение между отцом и Остроумовым при последнем свидании. Отец настаивал, чтобы Остроумов непременно взял с него деньги за лечение матери, и серьезно обиделся, что Остроумов не берет. А Остроумов серьезно обиделся, что ему предлагают деньги в семье, где он лечил не заработка, но дружбы ради. Оба разгорячились, в обоих заговорило наследственное сословное упрямство, вскипала семинарская страстность, и напели они друг другу немало неприятностей. Между прочим, Остроумов хватил фразу, которой, сгоряча, вероятно, и сам не заметил:

– Уже если вам, Валентин Николаевич, непременно хочется истратить эти деньги, так устройте на них у себя в квартире теплый ватер-клозет, а то у вас вместо сего учреждения, простудное гнездо!

Этого совета и попрека отец Остроумову в жизнь свою не простил. Но я потом, видясь с Остроумовым, в университете ли, в обществе ли, всегда встречал со стороны его самое милое, теплое, участливое отношение. И не только ко мне, но и ко всей семье нашей. Даже много лет спустя, уже не весьма молодым журналистом, едучи из Петербурга в Москву, я – на перегоне Москва – Химки – вдруг услышал от вошедшего в вагон старика хриплый, басовый оклик:

– Саша! Да никак это ты?!

– Остроумов!..

И добрые двадцать минут, отделявшие нас от Москвы, он расспрашивал меня об отце, о сестрах, о старых общих знакомых, которых я сам давно потерял уже из вида, обнаруживая поразительную память и самый живой ко всем интерес. В эту встречу он показался мне очень старым и угрюмым. Глаза потухли и об-

ложились отечными мешками. Лоб облысел. Он жаловался на ужасные головные боли.

– Света не вижу! Мучительство, а не жизнь!..

В мое университетское время А. А. Остроумов был очень любим студенчеством. На знаменитых, угасших ныне праздниках 12 января в Татьянин день ему всегда устраивали овации, наряду с Чупровым, Ковалевским, качали его, заставляли его говорить речи, чего он терпеть не мог. Чтобы вознести Остроумова на стол, мы всегда выдерживали целую борьбу, ибо он упирался, хватаясь за что ни попадя, ругаясь и проклиная, даже рассыпая тузы и пинки. Очутившись на столе, красный, растрепанный, обозленный, с оборванной фалдою, он минуты две искреннейшим образом «лаялся» с хохочущею толпою насильников своих, а, поуспокоившись, говорил очень хорошо – грубовато, но образно, ярко, с резкими, солеными остротами – настоящим оратором-демократом из семинарской школы шестидесятых годов... Впоследствии симпатии студенчества к Остроумову, кажется, поблекли. Профессор в России так поставлен,

что не токмо физиологом быть, но даже о корнях санскритских читать мудрено ему без политической физиономии. Думаю, что Остроумов совершенно не годился в политические фигуры и, стараясь, сам не заметил, как в этом отношении из авангарда попал в арьергард. Но в университетских историях нашего времени он вел себя либералом истинно передовым и боевым, очень мужественно и стойко. Своим напористым юмором и прямолинейным отрицанием бюрократических компромиссов он придавал в профессорском совете немалую силу оппозиции, отстаивавшей староуставные корпоративные права. Университет, науку, положительное знание он ставил необычайно высоко – возносил как бы на некий Синай жизни. Припоминаю одну прогулку в подмосковном Богородском. Остроумов, Александр и Алексей Ивановичи Чуровы, и я, студент третьего курса. Остроумов в духе.

– Давайте, братцы, петь хором!

И затягивает громовым, трескучим басом:

*Илья Пророк пред громом
Пьет всегда чай с ромом...*

Сорокалетнего юношу Александра Ивановича Чупрова, конечно, сахаром не корми, только дай вспомнить и совершить что-нибудь молодое, буршеское. И вот идут мои ординарные профессора просекою, тычут перед собою палками в воздух и вопят истошными голосами:

*Аристотель оный,
Древний философ,
Продал панталоны
За настойки штоф!
Цезарь, сын отваги,
И Помпей-герой
Продавали шпаги
Тою же ценой!*

– Саша! спой: «На земле весь род людской!»
Я извиняюсь, что уже поздний вечер, сыро, боюсь простудить горло, на голосе скверно отзовется.

– Велика важность! Что ты? в опере, что ли, собираешься петь?

– Именно, Алексей Александрович. Его так и потрянуло.

– Как? Ты думаешь идти на сцену?

– Непременно, Алексей Александрович.

– Это из университета-то? Это племянник-то Чупрова? В актеры? В дармоеды? Да – какое же ты право имел в университете место занимать? Затеял глупости, так хоть место-то уступи, другому света не засти!

В жизнь свою не получал я подобной взбучки! Так что уж Александр Иванович сжалился и заступился, напоминая Остроумову одного из его слушателей, успешно променявшего медицину на оперную сцену.

Не тут-то было! Огрызнулся:

– Так ведь тот был болван, осиновая голова, туда ему и дорога! А у Сашки в голове мозги есть. Ах, Сашка! Сашка! Не ожидал я от тебя! Право, не ожидал!

Самородный талант с головы до ног, Остроумов ненавидел кропотливых Вагнеров в науке и бездарностей, ползущих в карьере, держась за хвостик тетеньки. Хотя надо признаться: по добродушию, скрытому под его грубостями, Остроумов и сам протащил не мало таких господ из грязи в князи. Помню один диспут докторский, на коем Остроумов вдруг до того обозлился, что даже заговорил с докторантом на «ты»:

– Эх, такой-то! Носил ты, носил ко мне свою диссертацию, поправлял я тебе ее, поправлял, а все равно ты ничего не понял и ничего у тебя не вышло!..

Ему делают знаки, шипят:

– Алексей Александрович! что вы? как можно? Алексей Александрович!

Опомнился, нахмурился, покраснел. Спрашивает отрывисто:

– Опыты вы делали? Растерявшийся докторант лепечет:

– Да-с, делал.

– Какие?

– Ма... ма... маленькие!

– Оно и видно, что маленькие!

В зале, конечно, буря хохота. Любопытно, что докторанта все-таки удостоили степени, – вероятно, в вознаграждение за претерпенное бесчестие. В настоящее время это очень известный врач, но легенда о «маленьких опытах» так и припечаталась к имени его, с нею он и в могилу ляжет.

Припоминая разговоры Остроумова, я неизменно вижу мрачную, скептическую мысль, угрюмо глядевшую в прорези веселой

его маски.

– Меня считают хорошим диагностом, – говорил он однажды отцу моему. – А знаете, почему я хороший диагност? Потому, что хорошо учился логике. Да! Законом исключения третьего вертеть умею и в силлогизмах собаку съел. Большинство моих коллег зарылось в сугробах специального знания до того, что с головою в них провалилось. Есть много врачей, знающих больше меня, но они не логики. А я логик. Большим диагностом без логики быть нельзя. Диагноз – торжество силлогизма и закона исключения третьего.

Я большой скептик по части медицины. Думаю, что скептицизм этот развился во мне, главным образом, под юным впечатлением великого врача, который сам сомневался в своем искусстве, а, может быть, и в своей науке. Помню – тоже в Богородском, тоже в лесу на прогулке – Остроумов говорил Александру Ивановичу Чупрову по поводу брата его, Алексея Ивановича:

– А кто его знает, что ему полезно? Пробовать будем... Выпадет счастливая проба, – десять лет протянет, выпадает несчастная, –

окочурится... Вон прежде мы всех туберкулезных, без разбора, в Крым посылали. А теперь я убедился, что для тех, которые лихорадят, Крым – яд. Вот и подумай: прежде, чем убедиться-то, для скольких мы этими крымскими посылками, думая помочь, жизнь сократили?

– Значит... и моя мать? – невольно вырвалось у меня, потому что она именно в Крыму окончательно захирела.

Остроумов взглянул на меня спокойными, полными большой мысли глазами, как теперь говорят, «сверхчеловека», и произнес угрюмо и твердо:

– Да, и твоя мать.

Со времени этого разговора Остроумов всегда представляется мне как бы Фаустом, которого толпа на празднике народном благодарит за помощь во время чумы, а он, в глубине души своей, терзается чуткою совестью и мнит себя не спасителем, но губителем народа.

*Hier war die Arzenei – die Patienten starben,
Und niemand fragte, – wer genas?*

*So haben wir, mit hollischer
Latwergen
In disen Thalern, diesen Bergen,
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbst den Gift an Tausende
gegeben;
Sie werkten him, ich muss erleben,
Dass man die frechen Murder lobt.*

Когда вышла в свет знаменитая книга Вересаева «Записки врача», дорого дал бы я за возможность поговорить о ней с Остроумовым!..

– Проклятая практика! – вырвалось у него однажды. – Если бы я мог вернуть свою молодость, я заперся бы в лабораторию. Я рожден для кафедры и кабинета. И только там счастлив.

Практические разочарования Фауста в приобретенном им знании бросили почтенного доктора в когти Мефистофеля. В наш век черти больше не покупают душ ни у докторов, ни у простых смертных. Но жестокий червяк самосомнения работает еще острее, чем прежде. И, чем честнее натура, чем богаче одарена она, тем разрушительнее его ядо-

витая работа. Не радостно человеку, глубоко, тонко и совершенно изучившему процесс смерти, сознавать свое коренное бессилие в борьбе с нею, видеть, что ценою всей науки своей он приобрел лишь одно печальное право: предупредить ближнего своего, что ты, мол, умираешь! – раньше и с большей уверенностью, чем то могут сделать другие... Практика отравила и съела Остроумова. Такому богатырю жить бы, да жить лет до 80, а он умер, вряд ли дожив и до 60, с совершенно разрушенным здоровьем. В лице его Россия потеряла, несомненно, большого человека: яркий талант, сильный, честный, редкостно стройный ум, крепкую и полезную волю.

Примечания

1

«Уже обречен на смерть!» *(лат.)*

[^^^]